

Содержание

ЧАСТЬ I 3

ЧАСТЬ II 525

Посвящается Марии Игнатьевне Закревской

Глава 1

Иван Акимович Самгин любил оригинальное, поэтому, когда жена родила второго сына, Самгин, сидя у постели роженицы, стал убеждать ее:

— Знаешь что, Вера, дадим ему какое-нибудь редкое имя? Надоели эти бесчисленные Иваны, Василии... А?

Утомленная муками родов, Вера Петровна не ответила. Муж на минуту задумался, устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали и ледоход на реке, и мохнатые кочки болота. Затем Самгин начал озабоченно перечислять, пронзая воздух коротеньким и пухлым пальцем:

— Христофор? Кирик? Вукол? Никодим?

Каждое имя он уничтожал вычеркивающим жестом, а перебрав десятка полтора необычных имен, воскликнул удовлетворенно:

— Самсон! Самсон Самгин, — вот! Это неплохо! Имя библейского героя, а фамилия, — фамилия у меня своеобразная!

— Не трясись кровать, — тихо попросила жена.

Он извинился, поцеловал ее руку, обессиленную и странно тяжелую, улыбаясь, послушал злой свист осеннего ветра, жалобный писк ребенка.

— Да, Самсон! Народ нуждается в героях. Но... я еще подумую. Может быть — Леонид.

— Вы утомляете Веру пустяками, — строго заметила, пеленая новорожденного, Мария Романовна, акушерка.

Самгин взглянул на бескровное лицо жены, поправил ее разбросанные по подушке волосы необыкновенного

6 золотисто-лунного цвета и бесшумно вышел из спальни.

Роженица выздоравливала медленно, ребенок был слаб; опасаясь, что он не выживет, толстая, но всегда больная мать Веры Петровны торопила окрестить его; окрестили, и Самгин, виновато улыбаясь, сказал:

— Верочка, в последнюю минуту я решил назвать его Климом. Клим! Простонародное имя, ни к чему не обязывает. Ты — как, а?

Заметив смущение мужа и общее недовольство домашних, Вера Петровна одобрила:

— Мне нравится.

Ее слова были законом в семье, а к неожиданным поступкам Самгина все привыкли; он часто удивлял своеобразием своих действий, но и в семье и среди знакомых пользовался репутацией счастливого человека, которому все легко дается.

Однако не совсем обычное имя ребенка с первых же дней жизни заметно подчеркнуло его.

— Клим? — переспрашивали знакомые, рассматривая мальчика особенно внимательно и как бы догадываясь: почему же Клим?

Самгин объяснял:

— Я хотел назвать его Нестор или Антипа, но, знаете, эта глупейшая церемония, попы, «отрицаешься ли Сатаны», «дунь», «плюнь»...

У домашних тоже были причины — у каждого своя — относиться к новорожденному более внимательно, чем к его двухлетнему брату Дмитрию. Клим был слаб здоровьем, и это усиливало любовь матери; отец чувствовал себя виноватым в том, что дал сыну неудачное имя, бабушка, находя имя «мужицким», считала, что ребенка обидели, а чадолюбивый дед Клим, организатор и почетный попечитель ремесленного училища для сирот, увлекался педагогикой, гигиеной и, явно предпочитая слабенького Клим здоровому Дмитрию, тоже отягчал внука усиленными заботами о нем.

Первые годы жизни Клим совпали с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немногих людей, которые мужественно и беззащитно поставили себя «между молотом и наковальней», между правительством бездарного

потомка талантливой немецкой принцессы и безграмотным народом, отупевшим в рабстве крепостного права. Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно, с великой искренностью полюбили «народ» и пошли воскрешать, спасти его. Чтоб легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны.

Печальным гимном той поры были гневные стоны самого чуткого поэта эпохи, и особенно подчеркнуто тревожно звучал вопрос, обращенный поэтом к народу:

Ты проснешься ль, исполненный сил?
Иль, судеб повинувась закону,
Все, что мог, ты уже совершил,
Создал песню, подобную стону,
И навеки духовно почил?

Неисчислимо количество страданий, испытанных борцами за свободу творчества культуры. Но аресты, тюрьмы, ссылки в Сибирь сотен молодежи все более разжигали и обостряли ее борьбу против огромного, бездушного механизма власти.

В этой борьбе пострадала и семья Самгиных: старший брат Ивана Яков, просидев почти два года в тюрьме, был сослан в Сибирь, пытался бежать из ссылки и, пойманный, переведен куда-то в Туркестан; Иван Самгин тоже не избежал ареста и тюрьмы, а затем его исключили из университета; двоюродный брат Веры Петровны и муж Марьи Романовны умер на этапе по пути в Ялуторовск, в ссылку.

Весной 79-го года шелкнул отчаянный выстрел Соловьева, правительство ответило на него азиатскими репрессиями.

Тогда несколько десятков решительных людей, мужчин и женщин, вступили в единоборство с самодержавием, два года охотились за ним, как за диким зверем, наконец убили его и тотчас же были преданы одним из своих товарищей; он сам пробовал убить Александра Второго, но, кажется, сам же и порвал провода мины, назначенной взо-

8 рвать поезд царя. Сын убитого, Александр Третий, наградил покушавшегося на жизнь его отца званием почетного гражданина.

Когда герои были уничтожены, они — как это всегда бывает — оказались виновными в том, что, возбудив надежды, не могли осуществить их. Люди, которые издали благосклонно следили за неравной борьбой, были угнетены поражением более тяжело, чем друзья борцов, оставшиеся в живых. Многие немедленно и благоразумно закрыли двери домов своих пред осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать.

Постепенно начиналась скептическая критика «значения личности в процессе творчества истории», — критика, которая через десятки лет уступила место неумеренному восторгу пред новым героем, «белокурой бестией» Фридриха Ницше. Люди быстро умнели и, соглашаясь со Спенсером, что «из свинцовых инстинктов не выработаешь золотого поведения», сосредоточивали силы и таланты свои на «самопознании», на вопросах индивидуального бытия. Быстро подвигались к приятию лозунга «наше время — не время широких задач».

Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя, художник этот, в стране, где большинство господ было такими же рабами, как их слуги, истерически кричал:

«Смирись, гордый человек! Терпи, гордый человек!»

А вслед за ним не менее мощно звучал голос другого гения, властно и настойчиво утверждая, что к свободе ведет только один путь — путь «непротивления злу насилием».

Дом Самгиных был одним из тех уже редких в те годы домов, где хозяева не торопились погасить все огни. Дом посещали, хотя и не часто, какие-то невеселые, неуживчивые люди; они садились в углах комнат, в тень, говорили мало, неприятно усмехаясь. Разного роста, различно одетые, они все были странно похожи друг на друга, как солдаты одной и той же роты. Они были «нездешние», куда-то ехали, являлись к Самгину на перепутье, иногда оставались ночевать. Они и тем еще похожи были друг на друга, что все покорно слушали сердитые слова Марии Романовны

и, видимо, боялись ее. А отец Самгин боялся их, маленький Клим видел, что отец почти перед каждым из них виновато потирал мягкие, ласковые руки свои и дрыгал ногою. Один из таких, черный, бородатый и, должно быть, очень скупой, сердито сказал:

— У тебя в доме, Иван, глупо, как в армянском анекдоте: всё в десять раз больше. Мне на ночь зачем-то дали две подушки и две свечи.

Круг городских знакомых Самгина значительно сузился, но все-таки вечерами у него, по привычке, собирались люди, еще не изжившие настроение вчерашнего дня. И каждый вечер из флигеля в глубине двора величественно являлась Мария Романовна, высокая, костистая, в черных очках, с обиженным лицом без губ и в кружевной черной шапочке на полуседых волосах, из-под шапочки строго торчали большие, серые уши. Со второго этажа спускался квартирант Варавка, широкоплечий, рыжебородый. Он был похож на ломового извозчика, который вдруг разбогател и, купив чужую одежду, стеснительно натянул ее на себя. Двигался тяжело, осторожно, но все-таки очень шумно шаркал подошвами; ступни у него были овальные, как блюда для рыбы. Садясь к чайному столу, он сначала заботливо пробовал стул, достаточно ли крепок? На нем и вокруг него все потрескивало, скрипело, тряслось, мебель и посуда боялись его, а когда он проходил мимо рояля — гудели струны. Являлся доктор Сомов, чернобородый, мрачный; остановясь в двери, на пороге, он осматривал всех выпуклыми, каменными глазами из-под бровей, похожих на усы, и спрашивал хрипло:

— Живы, здоровы?

Потом он шагал в комнату, и за его широкой, сутулой спиной всегда оказывалась докторша, худенькая, желтолицая, с огромными глазами. Молча поцеловав Веру Петровну, она кланялась всем людям в комнате, точно иконам в церкви, садилась подальше от них и сидела, как на приеме у дантиста, прикрывая рот платком. Смотрела она в тот угол, где потемнее, и как будто ждала, что вот сейчас из темноты кто-то позовет ее:

«Иди!»

Клим знал, что она ждет смерть, доктор Сомов при нем и при ней сказал:

10 — Никогда не встречал человека, который так глупо боится смерти, как моя супруга.

Незаметно и неожиданно, где-нибудь в углу, в сумраке, возникал рыжий человек, учитель Клима и Дмитрия, Степан Томилин; вбегала всегда взволнованная барышня Таня Куликова, сухонькая, со смешным носом, изъеденным оспой; она приносила книжки или тетрадки, исписанные лиловыми словами, насакивала на всех и подавленно, вполголоса торопила:

— Ну, давайте читать, читать!

Вера Петровна успокаивала ее:

— Напьемся чаю, отпустим прислугу и тогда...

— С прислугой осторожно! — предупреждал доктор Со-мов, покачивая головой, а на темени ее, в клочковатых волосах, светилась серая, круглая пустота. Взрослые пили чай среди комнаты, за круглым столом, под лампой с белым абажуром, придуманным Самгиным: абажур отражал свет не вниз, на стол, а в потолок; от этого по комнате разливался скучный полумрак, а в трех углах ее было темно, почти как ночью. В четвертом, освещенном стеной лампой, у кадки с огромным рододендромом, помещался детский стол. Черные, лапчатые листья растения расплзались по стенам, на стеблях, привязанных бечевками ко гвоздям, воздушные корни висели в воздухе, как длинные, серые черви.

Солидный, толстенький Дмитрий всегда сидел спиной к большому столу, а Клима, стройный, сухонький, остриженный в кружок, «под мужика», усаживался лицом к взрослому и, внимательно слушающая их говор, ждал, когда отец начнет показывать его.

Почти каждый вечер отец, подзвав Клима к себе, сжимал его бедра мягкими коленями и спрашивал:

— Ну, так как же, мужичок: что всего лучше?

Клима отвечал:

— Когда генерала хоронят.

— А — почему?

— Музыка играет.

— А что всего хуже?

— Если у мамы голова болит.

— Каково? — победоносно осведомлялся Самгин у гостей, и его смешное, круглое лицо ласково сияло. Гости, усмехаясь, хвалили Клима, но ему уже не нравились такие

демонстрации ума его, он сам находил ответы свои глупенькими. Первый раз он дал их года два тому назад. Теперь он покорно и даже благосклонно подчинялся забаве, видя, что она приятна отцу, но уже чувствовал в ней что-то обидное, как будто он — игрушка: пожмут ее — пищит.

Из рассказов отца, матери, бабушки гостям Клим узнал о себе немало удивительного и важного: оказалось, что он, будучи еще совсем маленьким, заметно отличался от своих сверстников.

— Простые, грубые игрушки нравились ему больше затейливых и дорогих, — быстро-быстро и захлебываясь словами, говорил отец; бабушка, важно качая седою, пышно причесанной головой, подтверждала, вздыхая:

— Да, да, он любит простое.

И, в свою очередь, интересно рассказывала, что еще пятилетним ребенком Клим трогательно ухаживал за хилым цветком, который случайно вырос в теневом углу сада, среди сорных трав; поливал его, не обращая внимания на цветы в клумбах, а когда цветок все-таки погиб, Клим долго и горько плакал.

Не слушая тещу, отец говорил сквозь ее слова:

— Гораздо охотнее играет с внуком няньки, чем с детьми своего круга...

Отец рассказывал лучше бабушки и всегда что-то такое, чего мальчик не замечал за собой, не чувствовал в себе. Иногда Климу даже казалось, что отец сам выдумал слова и поступки, о которых говорит, выдумал для того, чтоб похвастаться сыном, как он хвастался изумительной точностью хода своих часов, своим умением играть в карты и многим другим.

Но чаще Клим, слушая отца, удивлялся: как он забыл о том, что помнит отец? Нет, отец не выдумал, ведь и мама тоже говорит, что в нем, Климе, много необыкновенного, она даже объясняет, отчего это явилось.

— Он родился в тревожный год — тут и пожар, и арест Якова, и еще многое. Носила я его тяжело, роды были несколько преждевременны, вот откуда его странности, я думаю.

Клим слышал, что она говорит, как бы извиняясь или спрашивая: так ли это? Гости соглашались с нею:

12 — Да, это понятно!..

Однажды, взволнованный неудачной демонстрацией его ума перед гостями, Клим спросил отца:

— Почему я — необыкновенный, а Митя — обыкновенный? Он ведь тоже родился, когда всех вешали?

Отец объяснял очень многословно и долго, но в памяти Клима осталось только одно: есть желтые цветы и есть красные, он, Клим, красный цветок; желтые цветы — скучные.

Бабушка, неласково косясь на зятя, упрямо говорила, что на характер внука нехорошо влияет его смешное, мужицкое имя: дети называют Клима — клин, это обижает мальчика, потому он и тянется к взрослым.

— Это очень вредно, — говорила она.

Со всем этим никогда не соглашался Настоящий Старик — дедушка Аким, враг своего внука и всех людей, высокий, сутулый и скучный, как засохшее дерево. У него длинное лицо в двойной бороде от ушей до плеч, а подбородок голый, бритый, так же, как верхняя губа. Нос тяжелый, синеватый, глаза деда заросли серыми бровями. Его длинные ноги не сгибаются, длинные руки с кривыми пальцами шевелятся нехотя, неприятно, он одет всегда в длинный, коричневый сюртук, обут в бархатные сапоги на меху и на мягких подошвах. Он ходит с палкой, как ночной сторож, на конце палки кожаный мяч, чтоб она не стучала по полу, а шлепала и шаркала в тон подошвам его сапог. Он именно «настоящий старик» и даже сидит опираясь обеими руками на палку, как сидят старики на скамьях городского сада.

— Всё это — вреднейшая ерунда, — ворчит он. — Вы все портите ребенка, выдумываете его.

Между дедом и отцом тотчас разгорался спор. Отец доказывал, что все хорошее на земле — выдуманно, что выдумывать начали еще обезьяны, от которых родился человек, — дед сердито шаркал палкой, вычерчивая на полу нули, и кричал скрипучим голосом:

— И-и ерунда...

Но никто не мог переспорить отца, из его вкусных губ слова сыпались так быстро и обильно, что Клим уже знал: сейчас дед отмахнется палкой, выпрямится, большой, как лошадь в цирке, вставшая на задние ноги, и пойдет к себе, а отец крикнет вслед ему: